

За речкой Быковкой в пошатнувшейся загороди, состоящей частью из выветренных до белизны осиновых жердей, частью из ломаного частокола, женщина копает землю. Движения ее неторопливы, как бы раздумчивы, одежда на ней того же цвета, что и земля, – серовато-черная, с разводами выступившей на спине соли. Нехитрое дело – копать землю: подошвой на отгиб лопаты, острие или, по-солдатски, штык в землю, поворот лопаты, заученный удар по вывернутому изнанкой кому, и снова наклон – подъем, наклон – подъем. Сколько это там "мальчики играют в тихой мгле – десять тысяч лет уже играют..."? А сколько же эта женщина копает землю? Весь свой век. Нет, все века земного человеческого существования – сначала камешком, потом обожженным сучком, потом железкой, не сразу и не вдруг сделавшейся лопатой. Удивительная судьба этого вроде бы примитивного инструмента, из тьмы безграмотных веков дошедшего до наших времен и не сдающего своих позиций. Я уверен, и в Байконуре, и в Звездном городке, где люди живут вроде бы в запредельном, космическом времени и масштабе, не могут обойтись без нее, без старушки лопаты. Более того, все с нее и началось. Ведь прежде чем что-либо построить, вырастить, добыть, надо копать землю – мы дети земли, мы живем ею и на ней, оттого и зовем ее матерью. Слово это люди не устают повторять, и никогда оно не надоест: мать и хлеб – слова всевечны. Женщина копает землю, не себе копает, а немощной бабушке Даше – так уж заведено, так уж пошло издавна в этой деревушке: прежде чем сделать что-либо себе, подсобляют другим. ...Деревня Быковка стоит на берегу уральской речки Быковки, журчаливой, студеновой, веснами облитой цветами черемухи. Глянешь с утора, и кажется, что бушевавшая всю весну речка взбила по всем своим загогулинам и водоплескам белую пену. В пене омытые, задохнувшиеся вешним дурманом, дни и ночи трещат соловьи, уркают голуби-вяхири, по травянистым косогорам верещит, свистит и заливадается всякая иная пернатая мелочь, которой и всегда тут было много, а за последние годы сделалось гуще, – видно, в середине России и в теплых краях до того доопрыскивали поля и леса, до того их допыляли, что всех козявок, блошек, мошек и муравьишек там уморили, нечего стало есть птичкам и жить страшно сделалось, вот они и ищут кормные места и тихие уголки на земле. Широко разлившаяся от подпора Камской гидроэлектростанции река Чусовая и Сытва, соединившись вместе, образуют малонаселенный угол. Подумать только: сорок минут на электричке за плотину от огромного индустриального центра – Перми, в которой толчея, дышать от копоти и газа нечем, двадцать минут на "Ракете" от пристани Левшино – и вот она, первозданная тишина и вселенское успокоение. Породился я с деревушкой Быковкой и ее обитателями, и, находясь вдали от Урала, нет-нет да и получим мы с женой весточку оттуда: живем помаленьку, тот-то помер, тот-то уехал или собирается уезжать... Когда-то вызвал я неудовольствие одного пермского деятеля тем, что поселился в этакое глухомани. Не понимая такого моего шага, деятель полемизировал со мною по этому поводу, полемик же он понимал как футбольную игру в одни ворота, чтоб он "бил", а все остальные "ловили", – и, получив непривычный отпор, воспламенился, орал, есть, дескать, в Пермской области колхоз-миллионер, там бы избу мне дали бесплатно, мешки с продуктами не надо на себе таскать, там и магазин, там и Дворец культуры, в лесах клещей нет и никакой другой заразы – живи в свое удовольствие, отражай все новое, передовое. Так нет ведь, забрался писака в энцефалитную деревушку, чуть жену не погубил, пишет про бабушку с дедушкой да про Сибирь, а картошку уральскую ест!.. Я знаю еще по работе в газете, когда начальник просит или требуют "отражать достижения", то он ясно подразумевает, что в этих "достижениях" уж непременно отразится сам, и сказал, что выбираю все в жизни согласно своей душе: жену, работу, жилье, мысли, даже еду, если капиталы позволяют. Важный деятель сей же момент обвинил меня в "искривлении души", в ущербности видения действительности. Может быть, может быть, ибо еще в войну я уяснил: слова песни "Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда" есть все-таки слова, и не больше, к тому же написанные на "русского языка". Пермский же начальник, и кабы только он, считает пение и смех "среди упорной борьбы и труда" нормальным состоянием нашего общества. Разница еще и в том, что гораздо больше я видел слез после войны, чем слышал песен, и нет тут моей вины, а есть наша общая беда и боль, которую самой природой и мучительной профессией назначено мне постоянно чувствовать и переживать во сто крат сильнее других людей, иначе и за перо не стоило браться. Когда-то жизнь вокруг Быковки была ключом: был леспромхоз, колхозы, мастерские, линия электропередачи, но как разлилось Камское водохранилище, потопившее необозримую вольность уральских лесов, пойменные луга, пашни, – жизнь на мысу начала сворачиваться, правление колхоза, нынче – совхоза, перекинулось на другую сторону, в поселок Старые Ляды, и домишки один по одному начали сниматься с мест, оставляя после себя груды

Астафьев Виктор Петрович Паруня astafevvictor.ru

пережженных кирпичей, ямы подполий с мышинными норками, битыми горшками и старыми самоварами да сгнившие нижние венцы, два из которых допревают перед моими окнами по другую сторону дороги. Бурьян, лопухи, жалица поспешно и стыдливо маскируют захламленное, будто в военной панике брошенное жилое место. Красивые берега Сылвы и Чусовой ныне захвачены дачной публикой. Лишь деревушку Быковку минует дачная стихия: в глуби лесов деревушка – к ней идти "своими ногами", тащить на себе продукты. Дачник же, большей частью пенсионер, не хочет ходить и таскать ничего не любит – он на то и дачник, чтобы отдышаться от газа и дыма, отдохнуть от города, от сумок, авосек, от очередей, от гама-содома и скоротать на лоне природы остаток лет, созерцая ее, а главным образом, потихоньку пощипывая, где мерещкой опутывая, где острогой притыкая, где топориком потюкивая, где костерком припекая, где ружьишком ушибая, – очень замкнутый, но деловитоловкий смекалистый пенсионер-дачник обретается по здешним задичавшим берегам... Странная и зловещая арифметика постигла Быковку: в шестнадцать ее домов не вернулись с войны шестнадцать мужиков, и, сколько я знаю, она всегда бабья, отсюда уклад ее жизни. Во время лесозаготовок и пока мельница стояла, шумней было в деревушке, народу завозней. В соседнем поселке, названном громко – Новостройкой, кино показывали, танцы бывали, праздники и драки случались; нет-нет да какой-нито кавалеришко из вербованных или трудармейцев привертывал на огонек в Быковку, два или три навсего со вдовушками сошлись. Но когда леспромхоз, прикончив лесную страду, свернул свои дела, прихватив с собою вдовушек, дома и худобу их, новоявленные хозяева исчезли из деревни. Однако не ощущались еще так остро в Быковке малолюдство и заброшенность, пока шумела на речке мельница, но погубила мельницу злая привычка мельника к вину: загулял он в майские праздники и не отдолбил ворота плотины. Вода наперла, стала перехлестывать через насыпь, потом нашла слабину, просочилась за стенку давно срубленного ряжа, размыла яр и, обвалив каменистый его бок, хлынула из заперти, лязгая каменными плитами, переворачивая сутунки, кружа упрятанные меж ними сухие птичьи гнездышки, взбивая пеной мучной бус, мякину и отруби, валом опрокидывая захлебнувшихся крыс и мышей, всегда и на всех мельницах густо обретающихся. Весело бегали быковские ребятишки с корзинами и кошелками по оголившейся впадине пруда, из борозд, лыв и бочажин выбирая рыбу, – много рыбы обсохло, особенно хариуса. И посеичас видно то место, где была мельница. Трагично и одиноко наклонился над речкой старый тополь, когда-то плескавший листвой над кровлей колхозной мельницы, дававший приют множеству птах и тень помольщикам, ждущим очереди на засыпку зерна. Яр все моет и моет веснами, скоро тополь упадет, колеса, шестерни, жернова, настил мельницы почти уж затащило тиной и курумом – супесью, речка норовит спрямить русло, размыть насыпь. Ох уж эта норовистая речка! Чем-то она похожа на нас – все-то мы спрямляем пути, размываем насыпи, но пока спрямляем, глядишь, еще большая загогулина в жизни вышла... Но вот пришла огородная пора, и ожила деревушка Быковка. Из угарных, скособочившихся изб вышли на свет хозяйки; принялись чинить городьбу, жечь огородный хлам и прошлогоднюю картофельную ботву; кислым дымом из огородов потянуло; за соседней баней проорал руководящим голосом петух, взмыкнула корова, а вон и давно привычный крик слышен: "Парушка! Ты завтра приходи на помощь!.." В Быковке издавна все делается артельно. Поодиночке женщинам было бы с жизнью не совладать. Первой в работе, любой, особенно которая потяжелее, всюду была и есть Паруня, попросту Парушка – это она вот копала землю за речкой, помогала бабушке Даше. В грузно шагающей женщине, как бы остановившейся в одном возрасте, уже трудно угадать ту голенастую, румянощекую девку, которая, таясь от зорких бабьих глаз, не переставая править крестьянскую работу, выносила ребенка и однажды потихоньку родила его, спрятавшись на сеновале. Ослабевшую, перед всеми виноватую, но просветленную во взгляде, нашли ее бабы. "Дура ты, дура! – сказали ей. – Да нешто с этим делом прячутся?!" и увели молодую мать в тепло, в избу. Да не сулил, как говорится, Бог долгого веку дитю Паруни. Одна она скоро осталась, ходила молчаливая, смотрела в землю. И по сию пору придавившая ее в молодости сутуловатость осталась, горбистой спина сделалась да ровно бы вытянулись большие руки с кривыми пальцами, навсегда уже сведенными в горсть пашенной работой и простудой. От кого было дите, куда девался тот ухорез, что искусил молодую девку, – бабы никогда не узнали, хотя пытались, ох как пытались это сделать, – первая и последняя любовь Паруни была и осталась для всех тайной. Я иной раз глядел на нее и в чем-то, где-то угадывал – она не забыла о голеньком дите и о летучей любви, дорожит этим воспоминанием и оттого никому его не доверяет. Больше ничего выдающегося к жизни Паруши не случилось. Наведывались, конечно, в гости мимоходные мужики; старый пасечник одно время наладился угощать Парушу медом, да и сам я слышал и видел, как заливалась она громким смехом и вертелась возле таганка, на котором клокотало варено, когда было брошено в заречные места на копку картошек одно бравое саперное войско, и носатый сержант в начищенных ваксой сапогах, со множеством

значков на гимнастерке, все норовил ущипнуть Паруню, а она взлягивала, отбиваясь от наседающего воина: "Да подь ты к ч?мару, лешой!" Родилась и выросла Паруня в Быковке. Трудиться стала с четырнадцати лет, потому что рано осиротела. Войну она встретила уже взрослой девахой, работала, как все колхозники, дни и ночи, не разгибаясь, в старой телогрейке, в лаптях, которые зимою часто примерзали к ногам. "Паруша, война идет. Надо фронту мясо", – говорили ей. Надо так надо. Силой Бог не обидел, раденье от природы, а тут еще бабы свои, родные все, как им не подсобить? "Паруша, подежурь за меня, ребенок заболел...", "Паруша, съезди в лес по сено, корова падает...", "Паруша, помоги напилить дров...", "Паруша, погрузи мешки – у меня поясница отнялась...", "Паруша, вывези назем...", "Паруша...", "Паруша...", "Паруша...". Не было у нее мужа на фронте, и сына не было на фронте, перед всеми она в долгу, перед нею – никто. Ей как бы самой жизнью было заказано прибегать к бабьему средству – слезам, и вообще всякое облегчение, жалость, сочувствие вроде бы на нее не распространялись, они ровно бы и отпущены ей судьбою не были. И один раз, один только раз разревелась она в войну: пришла к Даше, тогда еще не бабушке, а ладной, крепкой, доброй женщине, та печь затопила, велела Паруше раздеться, лопоть и обутки посушить – ростепель, слякоть как раз была. Сняла Паруня свои в прах разбитые латки, портянки размотала и приморилась возле печи. Старший Дашин сын в избу ввалился, в печь дрова подкладывать взялся, видит – старье, хлам какой-то мочальный к печке прислонен – он и его в огонь. Проснулась Паруня, за голову схватилась: "Ой, в чем же я на работу-то пойду?!" Поначалу все оторопели – Паруша ревет. Пошли женщины к колхозному начальству походом и за грудки его. Помогло. Обули Паруню, и она, поблагодарив товарок за хлопоты, снова впряглась в работу, пуще прежнего старалась всем помочь. Когда, где спала она в ту пору и спала ли вообще – никто не знал. Выдавали Паруне за работу мясо, муку, деньги. Брат родной жил с семьей в Быковке же. Паруня весь свой паек тащила в дом брата – с войны он вернулся израненный, больной туберкулезом. Золовка не пускала Паруню в дом – вонькая-де, свиньей пропахла. Голодная, замерзшая, придет под окно Паруня, стоит, смотрит, тихонько завывая. Как собачонке, выбросят ей каравай хлеба, из ее же муки испеченный, и дверь захлопнут. Ах, как любят у нас, особенно по темным углам, обижать безответных людей! Но когда их не станет, когда они уйдут навечно и обнаружится после них пустота и вроде бы потухнет свет в деревенском окне, оплакивают их люди горько, винятся перед ними. А как умеют и любят у нас, увы, не только по деревьям, воротить рыло от тех, кто выполняет грязную работу, забывая, что все на свете идет от земли, растет на земле, а она, между прочим, грязная, и на поля, между прочим, кладут душной навоз, чтоб хлеб родился, картошка, овощи, чтоб есть было чего. В одном российском городке видел я на воскреснике выразительную картину: современное, стеклобетонное здание института, перед ним в модных штанах, в красивых плащиках, с навойлочными прическами, разукрашенные, распомаженные девицы мели землю. Как они ее, бедную, мели! Каждая девица старалась держать метлу как можно брезгливей, манерней, то под мышкой, то в одной ручке, обтянутой замшевой перчаткой, то уж и вовсе как-то неприлично – студентки изобразжали отстраненность от труда и от земли, им казалось постыдным, если подумают, что родители их и они сами только что вот покинули село... В превосходной книге Михаила Домогацких "Джамбо, Африка!" я вычитал страницы о том, как в многочисленном африканском народе масаев происходит то, что книжно именуется урбанизацией. Побывав в городе, поотиравшись там на должности боя, расслышного, паче того – на службе, иные масаи начинают пренебрежительно относиться к своему народу, не хотят с ним общаться и узнавать родных. Так ведь масаи-то лишь недавно из колониализма вышли, ведут племенной, полудикий образ жизни. Зачем же будущим-то учителям, выросшим в трудовых семьях, учившимся в трудовых школах, на трудовые копейки народа, не чурающегося ни земляного, ни тягостного ратного дела, уподобляться полудикому племени?.. Впрочем, что корить девушек с филфака – они молодцы, и им еще доведется устыдиться своей жеманности. Но вот в Быковке гостил у меня довольно известный писатель, что в книгах своих и в застолье не устает распинаться "за народ". Так вот этот самый "народник" не стал пить из одного стакана с Паруней, погребовал, а я, хорошо его знающий, точно ведаю: Паруня чище его и душой, и телом, и помыслами – и оттого запретил ему бывать в моей избушке. Со временем Паруня перешла со свинофермы на колхозный телятник, где работать ей было легче, есть у нее и своя изба – крайняя в деревеньке, есть коза, курицы, кошка и кривой на один глаз кобелишка Тузик, который таскался за хозяйкой по пятам и нещадно трепал за уши моего дураковатого пса Спирьку, – только он и был под силу Тузику. По интеллигентской воспитанности Спирька не вступал в драку, лишь грозно рычал. Стоимость всего хозяйства Паруни где-то в пределах трехсот или пятисот рублей. В диалектике я не силен, политэкономю постичь до глубин так и не сумел. Когда учился на Высших литературных курсах, Ишутину Михаилу Ивановичу – преподавателю политэкономии – говорил на экзамене

Астафьев Виктор Петрович Паруня astafevvictor.ru

одно и то же: "Политэкономия знаю на двойку, а надо тройку, чтоб получить стипендию – семья у меня". И преподаватель, добрая душа. за честное признание ставил мне четверку. Но даже при таком слабом знании политэкономии я вот что маракую: Паруня с детства трудится, производит материальные ценности: мясо, молоко, дрова, сено, древесину, и мне хочется знать – куда это все девается? Однажды я пережил самое настоящее социальное потрясение. Еще утром был в Быковке, а вечером по срочному вызову – в Москве, в гостинице "Украина", устроился жить и пошел в ресторан поужинать. "Мальчики" лет этак тридцать, из тех, что кончили Литературный или другой институт, в красивых пальто, в меховых шарфах, в меховых шапках шляются по столице, попивая коктейли или чего покрепче, вельможено рассуждая при этом "за народ", и не спешат жениться, чтобы не уходить от родителей и не кормить свою семью, да разукрашенные девки бесились в ресторане, справляли шашаб по поводу того, что один из них протолкнул-таки "сценарий про рабочий класс". Парни-мужики и курящие девицы выкрикивали что-то хриплое, дикое, по-африкански "выразительно" вертели задами, закатывали глаза в экстазе танца, загнанные официанты разносили по столам еду, какой быковские женщины и в глаза не видывали, вина, какие они сроду не пивали. Сиял свет, гремела музыка, было дымно, чадно, взвинченно-весело. Перед моими же глазами неумолимое и трагичное стояло видение: войной надсаженная, полуразвалившаяся деревушка с темными окнами. Паруня ломит всю жизнь работу, производит продукцию, у нее огород есть, коза, куры и собака Тузик. Хорошо, коли продукт, ею произведенный, потребляют металлурги, шахтеры, рабочие и служащие, учителя, ученики и малые дети в детсадике, – это все так и должно быть. Однако же часть труда и продукции, произведенной Парушей, попала и попадает этим вот "сливкам общества", этим краснобаям и пьяницам. А почему она, собственно, им попадает? Почему они не работают и жрут?! И что самое обидное, жрут слаще тех, кто работает... * * * С годами еще тяжелей сделалась походка Паруши. Часто она стала падать – подводят простуженные ноги, но тело и вся она крепко, по-мужички сбиты. И летом, разломавши суставы и потрескивающие кости, выходила она вместе со всеми быковскими жителями на закладку силоса – заросли холмы в округе бурьяном, дурнотравьем, а по пойме реки – пыреем, коси, сколь угодно, сколь душа просит. По девяти-двенадцати ям силоса закладывали. И любо-дорого смотреть, как, рассыпавшись по косолюбкам, в цветастых кофтах, в широких, складками обхваченных юбках женщины неторопливо да податливо вели прокосы, исполняли мужичью работу – отбивали, точили литовки, прочищали сточные трубы из ям, лошадьми утрамбовывали сырую зеленую массу. Требовалось – и к горну в кузнице становились. Глядишь, и бригадир-"руководитель" прибудет из соседней деревушки Катаева. "Руководить" в его понимании – значит пушить всех грязными словами и, главное, вызнать, не косит ли какая-нибудь хозяйка на лесной притаенной кулиге "для себя", не таскает ли в вязанках сено ночами на поветь. Как вызнает, тут же понятого, такого же пьяницу, за бок – и с "описью" в дом. Всех и все знал бригадир. Он здешний, "находить колхозное добро" умел хоть под землей – сам ворюга. Точно шел, собачьим нюхом отыскивал сено. Заваленную старым тесом или жердями, откроем копешку и наусупится: "Эт-то что такое?! Нарушаешь?!" Упрятанная на полатах в старой лагуде кисла, парилась брага на предмет помочи на покосе или починки бани. "Да захлебнися ты ею!" – застонет, бывало, хозяйка-вдова, обольется слезами, угощая брагой начальство, чтоб только не описали. Не выдержал я как-то, сказал бригадир: "Что ж ты лаешься так? Зачем утесняешь женщин-то? Им поклониться надо за труд и жизнь ихнюю..." Не понял меня бригадир, не одобрил: "Это Парушке-то кланяться?!" Вот и самая "молодая" из быковских женщин – Паруня на пенсию собралась. Надела она новое платье, сапоги резиновые, жакетку плюшевую, заперла избушку на круглый висячий замок, наказала подружкам доглядеть скотину и подалась на другую сторону водохранилища, в контору совхоза, праздничная, с легкой душой человека, до конца исполнившего свой трудовой долг. Как же горько плакала, вернувшись домой: в конторе каким-то образом, на каких-то хитроумных счетах прикинули ее трудовой стаж, и выпало: не хватает Паруне года до пенсии. "Болят у меня ноги, шибко болят, – жаловалась Паруня молчаливо окружившим ее товаркам, роняя одну за другой крупные слезы на жакетку и вытирая их концом клетчатого полушалка. – Если бы оне знали, как у меня болят ноги, оне бы вырешили мне пенсию..." Некому, совсем некому было работать в ту пору на телятнике. Надо было поговорить с Паруней, упросить ее, она бы согласилась, не устояла бы перед добрым словом. А ей какой-то туфтовый год недосчитали, почему-то начали стаж исчислять от совершеннолетия, толковали, что в архивах колхоза недостает каких-то бумаг... Куда они могли деться, те бумаги? Да и зачем они? Паруня всю жизнь работала в одном колхозе, в одной и той же деревне. Утром, подпоясанная ремнем по тужурке, в мужичьих брюках под юбкой, поковыляла Паруня на телятник, снова спокойная, но какая-то до щемливости от всего отрешенная. Такой вот непривычной я и запомнил тогда ее – бредет зимою по снежным забоям к

Астафьев Виктор Петрович Паруня astafevvictor.ru

телятнику, освещая себе путь фонариком, и головой покачивает. Но к лету воспрянула женщина, вытаяла, как по селам говорят, обветренная, загорелая, неунывающая, снова всем готовая прийти на помощь и пригодиться, трусила по скотнику, кричала на непослушных телят, столуя их, а они ее нисколько не боялись, тыкались в грудь парными мордами, руки облизывали, забыла горе Паруня, обиды забыла – не приучена их помнить, никто не приучал, да и в тягость самой себе такая привычка. В следующем году пенсию Паруне все-таки вырешили, хорошую пенсию – сорок пять рублей. Новый начальник отделения совхоза даже слова какие-то приятные сказал, новый бригадир – тоже. Покрывало и подарок выдали – Паруня его в тряпицу обернула и к бабушке Даше унесла на сохранение. Достает она то премиальное голубенькое покрывало и заправляет им кровать лишь по большим праздникам. Тем летом, как вышла Паруня на пенсию, поднялся я в угор, что полого взнимается от избушки бабушки Даши в осинники, уже воспрянувшие на вырубках тридцатых и сороковых годов и в девичий рост вошедшие, – там часты и дивно яркие подосиновики. По склону горы, на опушках лесозаготовители оставили полосы большого леса – шуршат под ветром высокие пышно-зеленые лиственницы, сверкают на солнце золотоствольные сосны, густо, одна к другой, жмутся ели, сочится ладанным запахом молитвенно-тихий пихтарник. Вот в этой гуще, на земляничной кулижке, и увидел я Паруню. Она косила мелкое разнотравье для козы, вся ушла в работу и не слышала меня. Я замер на опушке. Лицо Паруни было отстранено от мира и сует его, мягко, я бы сказал, даже благолепно было лицо ее. Зной солнца, стоявшего о полудни, смягчала густая хвоя и гушина листьев; душистое и легкое тепло реяло над полянкой, над женщиной, светло и даже празднично делающей "легкую" работу. Была она в ситцевом платье горошком, в белом, по-девчоночьи высоко завязанном платке – в том же крупном горохе – видать, выгадался при раскрое кусочек материи от платья. Лоб Паруни четко раздвоился – нижняя половина его и все лицо были под цвет обожженной глины, выше, до посекавшихся волос, – иссиня-бледная кожа, слегка окропленная капельками пота. На ногах Паруни какие-то легкомысленные носки и кожаные, скрипучие, еще ни разу до сего дня не надеванные сандалеты. Проблеск давнего, девического угадывался в наряженной женщине, недурна и в чем-то даже видная и ладная могла быть она в девках, если бы сиротство, война да работа не заели ее девичий век. Паруня плавно шла по поляне, роняя к ногам косою низкий валок лесной травы. В венчиках манжеток лесной красноватой герани, в разжилых низкого подорожника и высокой купены, в блеклых головках ползучего клевера, в листьях-сердечках майника, на черноголовках, на дымянке, на икотнике и путающемся меж трав и дудочек мышинном горошке – на всем, на всем, несмотря на полдень, еще лежала прохлада утра, а в теньке, в заувее, нет-нет да и вспыхивала остатним ярким светом капля росы и, перегорев, коротко, празднично гасла. Валки травы, сплошь окропленные брызгами земляники, беловатой пока костяники, пятна листья, блики солнца делали лесную кулижку еще нарядней, красочней, оживляли горошины и на Парунином "выходном" платье и платке. С тихой улыбкой, тайно блуждающей по лицу, творила она сенокосную страду, баловалась радостным задельем. Разгоревшееся алое лицо ее было ровно бы высвечено еще и внутренним светом, на нем жило удовольствие от вольного труда, от природы, близкой и необходимой сердцу, в котором расплылось и царило ленивое, нежное лето, и наслаждение было от него во всем: и в тепле ласкового, чуть ощутимого ветерка, и в ярком свете, ненадоедном, игровитом, что неразумное дитя, и в вольном воздухе, какой бывает только в пору спелой травы, когда еще не отдает земля грибной прелью и горечью плесени, а вместо паутины невидимыми нитями сквозит и прошивает все земляничный дух, но все это и даже стойкий аромат сроненной со стебельков земляники, подвяленной высоким солнцем, заслонит, подавит скошенной травой, которая покорно и быстро вянет, исходя последним и оттого густым и пряным до опьянения запахом. Все вокруг и прежде всего сама Паруня были так редкостно неповторимы, что зазнобило мое сердце, горло сделалось шершавым. Захотелось отступить в пихтачи, чтоб навсегда унести в себе до боли знакомую с детства картину слияния, вот именно, полного слияния природы и человека, а главное, осязаемую уверенность в том, что так же вот счастливы трудом и благословенны природою бывали моя покойная мама, и тетки мои, и все русские женщины, которые вынесли все беды, не сломились под тяжестью войны, не пустили глубоко в себя обездоленности и подавленности, потому что природа – заступница и кормилица – была с ними и в них. Она, конечно, дарила им не одни только радости, она посылая им и напасти, и беды, но она была им и Богом, и заступницей, и судьей, как настоящая, строгая мать. Вот почему никогда не поймут и не разделят ахов и охов, порой и слез, что льет наш брат интеллигент над их судьбою, наши русские крестьяне, мало того, усмехнутся над нами, ибо надо еще поглядеть, чья жизнь, наша или ее вот, допустим, Парунина, из деревушки Быковки, полнее и вдохновеннее. Во всяком разе, в ту минуту на лесной земляничной кулижке я вдруг уразумел: счастье и понятие его – дело непостоянное, текучее, но бесспорно одно

– общение с природой, родство с нею, труд во имя нее есть древняя, неизменная, самая, быть может, надежная радость в жизни человека. Под ногою треснул сучок. Паруня подняла голову и какое-то время смотрела сквозь меня, без испуга и досады, лишь улыбка медленно сходила с ее ярких от земляники губ. – Ты што, собаку пришел проведать? – спросила меня Паруня. Наш пес, скончавшийся зимой от старости, похоронен на этой горе, но где именно, я не знал. – Вот туды ступай! – махнула Паруня рукой в глубь леса. – Под молоньей сломанной елью увидишь могилку... – И словно бы разом забыв про меня, обтерла травяным вехтем литовку, сняла с нее кровавое крошево и ловко заширкала бруском по лезвию косы, под гребешком которой и у основания белого литовища тоже темнела полоска запекшейся земляничной крови. Я тихо ушел в леса. Еще одна весна! Снова путь в привычную быковскую избушку. Снова знакомая пристань. Дебаркадера еще нет. Топаем тропинкой мимо изуродованной, ободранной, медленно умирающей красавицы березы. Надсаженная, мимоходом истюканная топорами, она и в эту весну из последних сил развесила сережки лимонного цвета, ствол ее светился неестественно белым, лунным светом – так у измученных чахоткой, догорающих людей вспыхивает последний яркий румянец на щеках. Тропинка строчит на холм, вдоль поля, утыканного головками пестиков, а их тут охотно собирают на пироги; беловатыми всходами осота и сизыми – сурепки, через ложок, освещенный желтым пламенем калужниц. Заброшенное поле с едва уже заметными темными стерженьками когда-то скошенных хлебов дымится пылью или прахом земли, истаявшей от корней трав. Вот и мокрый ложок, как живой первовестник лесов и снега, тающего еще в нем. Взмыл из лужи, метнулся в лес полосатый бекасенек, запричитала на опушке пигалица. Переходим по жердям через ложок и дальше, меж перелесков, по покосу, к нашей милой Быковке. Вот она, темная, молчаливая. В двух крайних избах нет света, прясла огорода уронены, третья изба от краю с заколоченными окнами. Сжалось сердце: еще кого-то не стало в деревушке. Отчего-то и и Паруниной избе не теплится огонек, не дымит труба. Жива ли Паруня? Нельзя ей умирать, никак нельзя. Невозможно представить деревню Быковку без нее. Жива! Увидела дым над нашей избой, и уж тут как тут, тащит из ямы ведро волглых картошек и дородную пегую редьку с желтокудро проросшей во тьме ботвой. "Здравстуйт?!" – говорит Паруня. Чуждаясь приезжих на первых порах, присаживается у двери на лавку и выкладывает новости, постепенно привыкая к нам и выявляя сыспотиха, не переменялись ли мы и наше к ней отношение? Не загордились ли в городской жизни? Скоро на "дымок" привернут остальные бабенки, и Саня Белканов с молодой женой объявится – в соседнем доме остался хозяином он, Саня. После смерти матери – Марии Федоровны – распалась семья, рассыпалась. И Саню лишь работа пасечника удерживала здесь. Сухонькую, тихоголосую, усмешливую мать Сани все вспоминают тепло и ясно, как живую: никогда и никто не видел ее без дела и никогда и никто не слышал, чтобы пожаловалась она на свою долю, а ведь подняла без мужа своих пятерых да еще сестриных пару. Те так к ней привязались, что мамой, чаще нянькой звали. Почти все белкановские парни стали уже работниками "широкого профиля": едет который постарше на "Беларуси", глядишь, рядом головенка младшего белеет – старший натаскивает его, и, когда старший в армию отправится, младший спокойно занимает место брата за рулем, на сенокосилке, в кузнице, на комбайне. Лежит Мария Федоровна под еловым крестом на маленьком, в хвойном лесу запавшем кладбище, опетая птицами. Отработала женщина за десятерых, оставила миру трудовых детей, успокоилась, отдыхает, но с тайным душевным трепетом думают ее товарки о последней, трогательной, всех изумившей воле, которая, если раздуматься, была для нее естественной, и все ее поведение перед смертью лишено было какой-либо позы и истерики, так ныне распространенных. Она уже должна была умереть, но пришла телеграмма в больницу, что Витька – сын сестры, ну это все равно что ее сын, возвращается из армии. И Мария Федоровна собралась с силами, дождалась солдата, поговорила с ним спокойно, без слез и жалоб, перекрестила на прощание и через час преставилась, давши перед этим наказ, чтобы обрядили ее в подвенечное платье – она лишь и последний час созналась, что там, в другом миру, надеется с Васей, своим мужем, на войне убитым, встретиться и хочется ей нарядной быть и молодой. У Паруни усадьба сотворена на бабий манер – два огорода под одной строчкой городьбы. Но вот уехала подружка ее, Дуська Копытова, на другую сторону водохранилища, в совхоз, развалила городьбу – полым-поло вокруг. В деревне три козьих блудливых семьи и один мужичонка – Саня Белканов, но он с восхода до заката на пасеке. Пришлось и мне вспомнить, что был и я когда-то мужиком, топор, пилу в руки – и в лес, помогать Паруне. Валим с ней дерева на столбики, кряжуем их. Напарница таращится на меня примутненным усталостью глазом: "Видать, в лесу-то рабливал?" – "С девяти лет, Паруня, на увале дрова ширикал. Дед Илья потянет пилу, я за ней впробеги..." – "И я тоже, и я тоже..." – вкочет Паруня и предлагает попить кваску. Садимся на сдобно желтеющие пеньки. Птичий грай вокруг, лист нарождается, по сырому логу, окропленному белыми брызгами доцветающих ветрениц и синих хохлаток,

тянет прохладой, освежает спину и лицо, от речки Быковки, что рокошет внизу, доносит горьковатостью черемух, набравших цвет. Несмотря на полдень, все еще там и сям поют соловьи, не выдохлись, не устали петь за ночь. Густо, сварливо трещат дрозды, гоняясь друг за дружкой, кукушка вкрадчиво, пробно кукует в глубинах лесов, и всякая тварь, всякое существо подает голос, заявляя о себе, и если не голосом, так вон вроде рыжей бабочки – нарядом своим удивляет либо жужжанием крыл, как стригун, кружащий над нами. Трава, остро поистыкавшая мокрый лог, усталый прошлогодним пегим листом, и удивлять никого не хочет, она просто лезет на свет, потому что весна, и надо ей поскорее занять свое место на земле, вырасти, отшуметь, отцвести и успокоиться луковкой обновленного корня. Паруня распустила платок, молчит, уронив меж колен руки, побитые топором, с крупно выступающими костями. Как у многих пожилых женщин, добрый и усталый взгляд направлен мимо всего, что есть поблизости, – запредельное, уже нездешнее успокоение и умиротворенность запали в ее душу, завладели ею. Вдруг, очнувшись, начинает Паруня рассказывать о том, как в войну работала на лесозаготовках, от колхоза посылали. "Тяжело было?" – "Ничо-о-о, здоровая была. Это сейчас ноги не держат. Несла тут от соседки решето с яйцами, бух в сугроб – все яйца перебила, корова этакая!" Идет работа. Я таскаю столбики – Паруня валится под столбиком. Перевожу ее в сучкорубы. Огромным острущим топором орудует Паруня, опасаясь, кабы сослепу по ноге не ткнула. В очередной перекур отчего-то начинает она вспоминать, кто жил в нашей избушке прежде, и память ее выхватывает неожиданное; какой-то колька из нашей избы прятался в лесу, землянка у него там была, ночами он тащил со дворов съестное. Однажды застучали его в белкановской бане, отстреливаться взялся, его ранили в голову. По Быковке вели кровью залитого. Все люди, от мала до велика, на улицы высыпали. Стрелки, уводившие дезертира, сказали Паруне: "Не смотри, деушка!" Рассказала и рассказала случай из жизни, сама-то она никогда и ничего не скрывала от людей – ни крошки хлеба, ни мысли дурной ли, хорошей ли – все, что знала, делала, – ведали люди, и до сих пор не может она понять, почему прятался от людей этот колька, почему потерял сам себя и жизнь свою? Доцветает черемуха по Быковке; купава на солнцепеках и широких полянах желтыми лепестками плачет; первоцвет сорит семенем на траву; давно облетела и незаметной сделалась синяя медуница; запекся алый цвет дикого горошка; саранки высунулись из кустов утиными клювами, готовыми вот-вот ярко открыться; по склонам марьяны коренья вспыхнули; земляника бородавкой ягодки из сухого цветка глядится; шиповник розово набух; папоротники в лесах пышно распрямляются; заливные луга сплошь высохли, густотравьем покрылись; в шишечках трав раньше всего у ромашек, змеевика и гвоздики накалился летний неторопливый цвет. Узенькое зеленое разложье разделило весну с летом. В Быковке притихло. Управились жители с огородами. Только долго и тихо светится окошко в халупке бабушки Даши – глянешь на него, и сердце сдвинется на теплое место. Бабушка Даша – здешний лекарь, прокурор, просветитель, наставник – словом, тот многоликий, многоглазый и многорукий человек, без которого ни одно русское селение обойтись не может. С Паруней у бабушки Даши давняя и неспокойная дружба: жить они одна без другой не могут, но "всю дорогу" конфликтуют. Гляжу я на заречный огонек, в котором две старые женщины неторопливо сейчас попивают чаек и толкуют о своих невидных миру делах, и думаю о том, что мы много рассуждаем о назначении человека, о полезности его в жизни и, кажется, несколько усложнили и продолжаем усложнять простые, как хлеб и земля, истины, скорее, даже не мы, а те, кто высокими рассуждениями как бы выдает себе право на лень, безделье и пустопорожность, вот-де, если потеряется космонавт в лесу, я, не щадя жизни, ринусь его искать; или обгорит герой на пожаре – я хоть кожу, хоть кровь ему. А уж "если завтра война"... Космонавты теряются в лесу редко, герои обгорают тоже не каждый день, а войны, даст Бог, не будет, и не надо ее. Для делания добра, для желанья помочь людям совсем не требуется таких потрясений, как война. Не лучше ли, не проще ли все делать без лишних слов, без болтовни, приучаться с малолетства самим и приучать к тому же своих детей всегда помогать ближнему своему, на первый случай хотя бы соседу. Пусть площадкой для утверждения человека, нравственной основой его жизни будет сама жизнь, но не убийство и кровопролитие. Уж если явится необходимость, тогда другой разговор, а пока такой необходимости нет, сама естественная жизнь дает постоянные возможности творить добро, быть там, где ты сейчас необходим, и с теми, кому нужен. К счастью для всех нас, добро пока еще не знает отдельных мест, комфортабельных высот и сфер, оно всюду одной масти, вкуса и смысла – оно доброе, добро, оно существует для того, чтобы легче было жить людям, оно очищает человека от зависти, скверны, гасит в нем стремление к насилию. Поэтому у добра и не должно быть никаких кулаков, добро с кулаками – это все равно что родник с расплавленным свинцом. Пользу же принести и прожить жизнь с пользой для людей можно везде, как видите, даже в тихой и малой деревеньке Быковке. В середине мая прилетела ласточка, которая давно живет на

Астафьев Виктор Петрович Паруня astafevvictor.ru

чердаке Паруниной избы, никого туда не допуская. Этакая чистюля и хлопотунья, однако весьма строптивая характером; когда ни послушает Паруня – все вскрикивает ласточка недовольно на мужа и детей, а дети такие смиренные да послушные, сидят тесно в гнездышке, прилепленном к слеге, маму с кормом ждут, как завидят человека – зажмурятся, головки утянут, мертвыми прикинутся. Отчего-то нынче ласточка явилась одна, пощebetала день на чердаке и на жердях городьбы да и подалась искать друга жизни. Трагедия ли в пути постигла супружескую пару, отбил ли кто у ласточки мужа, не выдержал ли он ее сварливости и пустился "налево" – ведь что в народе, то и в природе! В скворечнике появились скворчата, мать с папой от темна до темна мечутся по окрестностям в поисках корма. В прошлом году скворец являлся холостой, трещал, свистел, хорохорился все лето, этаким хахаль в темном, угольно-сверкающем фраке. Много особ набивалось дружить с ним, и он на короткое время впускал приглянувшуюся скворчиху к себе, нырял следом за нею в скворечник. Минуту-другую скворечник лихорадочно вздрагивал, болтался, и тут же кавалер надменно вышвыривал в круглую дырку домика возмущенную, стрекочущую, взъерошенную сожительницу. Что за напасть такая? В прошлое лето – одинокий скворец. Нынче – ласточка. Через неделю после прилета ласточки появились стрижи. Весь вечер они носились кругами низко над Быковкой, сплошь черные, лишь по животу ровно бы присыпанные золой. С таким текуче выстроенным, стремительным телом, что и сравнить-то их не с кем, разве что с соколом, он один, кстату, только и способен догонять стрижей в полете. Возле Быковки стрижи не живут, здесь нет высоких гор, нет строений под небо, но по прилете и перед отлетом какой-то непонятный людям ритуал справляют высокие и загадочные птицы, без визга, без суеты рея над холмами. В чашечке лесного пня у дроздихи появились птенцы. Судя по тому, как тревожно взмывает с поля чибис, кричит, вихляется, пищит и, отозвав человека в сторону, удовлетворенно роняет: "По-куррр-рим!" – появилось потомство и у него. Пенья и щебета в окрестных лесах убавилось – наступило время рожать земле и всему живому на ней. Только соловьи все щелкали да заливались, когда и птенцов они высиживать успевают?! В эту пору явилась на пасеку медведица с медвежонком, и собака Парушки, сторожившая пасеку ночами, вступила в сражение. Рев большой был в лесу, крик и вой. Медведица, едва отбив родное дитя, отступила. Не первый раз покушаются медведи на совхозную пасеку. Когда у Паруни еще не было Тузика, выломал медведь ограду, крышку с улья снял и орудует в нем. Вышла Паруня из избышки и видит: мужик на пасеку забрался! "Что это вы себе позволяете, молодой человек?" – вежливо спросила Паруня и хотела продолжить в том же укоризненном тоне, мол, такой здоровый, трудоспособный, а воруете!.. Медведь из улья морду вынул и оторопел. Паруня тоже обмирать было начала, да вспомнила, что на посту она и бояться ей не пристало – хლობься из переломки по медведю пятым номером дроби. Взревел косолапый, рванул напролом, прясло ограды на себе нес с версту, орал лихоматом, катался, нащипало дробью-то! С тех пор на пасеку никто не совался, однако вокруг похаживали, поплясывали, принюхивались косолапые, и вот САМА явилась за медком! Но Паруне ничего не страшно, Тузик за нею по пятам ходит, она с ним разговаривает, поругивает иной раз, он в глаза ей глядит, хвостом повилывает. После схватки с медведицей Паруня вовсе журить Тузика перестала, сахарком его балует. Молодец! Герой! Заслужил лакомство! Однажды Паруня пошла в соседнее село и купила там поросенка. Купила и, благословясь, отправилась домой. Поросенок Паруне попался егозистый, визгливый, все возился в мешке, долбил ногами в спину хозяйке и орал на весь лес. Паруня вела беседу с поросенком, призвала его к порядку, пробовала даже запеть: "Базар большой, купил поросенка, всю дорогу целовал, думал, что девчонка". Но поросенку не поглянулась песня: "Уй-уй-зю-у-у!" – возмущенно взвизгивал он. "Ну, не буду, не буду", – успокоила его Паруня. Поскольку пять верст – путь длинный и с поклажей нелегкий, Паруня имя поросенку от нечего делать придумала – Путик. Долго ли, коротко ли шла Паруня, а уже за вечерело. Стала Паруня переходить через речку Быковку по двум жердям, перекинутым с берега на берег, и, взбодряя себя, завела беседу: "Вот через речку переберемся, Путик, и дома будем. Я тебе молочка дам, а себе похлебку разогрею. Поедим и спать уложимся: я на кровать, ты в подпечье...?" "И-и-и-зю-у-у!" – ответил поросенок и брыкнулся в мешке. "Эво, эво! – шатнулась на жердях Паруня. – Я эть эдак упаду! Говорю тебе, Путик, дом скоро. Вон уж крышу видно, и ты смирно сиди, не роняй меня..." Закончить назидание не довелось – Путик так брыкнулся в мешке, что зашаталась Паруня и рухнула в холодные воды Быковки. Мешок она при этом выпустила и поначалу хватала руками вокруг, да уж больно холодна вода-то. И, сказав: "А, подь ты к чемару!" – побрела на берег. Выбравшись на сухое, Паруня прислушалась – нигде никакого голоса. "Путик! Где-ка ты? – несмело позвала она. – Путик! А, Путик! – повторила тревожной. – Пуу-ути-ик!" – заорала Паруня и ринулась обратно в речку. На коряге она нашла мокрый мешок и хотела уж завить в голос по утопшему, как почудилось ей, что в прибрежном ольховнике, смородиннике

ли кто-то хрюкнул. Паруня замерла. Хрюк повторился, и тогда, крадучись, полезла она в кусты, но Путик не подпускал хозяйку, отступал в глушь. Паруня ринулась за ним напролом, чтобы упасть на поросенка, придавить его собою да и заграбастать. И ринулась, и упала, но только ушиблась об пенек. Меж тем вовсе смерклось, хрюк поросенка отдалился в чащобу, и Паруня не выдержала, плюнула: "Вот на тебя, на окаянного!" – и подалась к бабушке Даше сушиться. Залезла на печь Паруня, слезами уливается. "Чего ревешь-то?" – спросила бабушка Даша. "Путика жалко". – "А пошто оставила?" – "Сбежал он, сбежал-ал, как дезертир какой. Где вот он сейчас, горюшко? Ночь на дворе, темь..." Чуть свет поднялись старые женщины и отправились на поиски Путика к переходу через речку. А там содом на всю округу. Собака пасечника с цепи сорвалась, на кого-то лает и рычит. Ринулись женщины к речке и зрят: на берегу мечется взъерошенный, до слюны уже озверевший кобелина; в речку загнанный, весь в грязи извоженный, с прокушенным ушком стоит на мели Путик, дрожит от страха и холода да голода и уж хрюкать не может. "Пу-утик! Родимо-ой! – заблажила Паруша и в чем была опрокинулась с крутого берега в воду, схватила поросенка и давай его целовать в пяточок: – Экой ты лешой!" Травма ли психическая подействовала, порода ли такая выдалась, но Путик вырос у Паруни, по определению быковских баб, совершенно чокнутым. Стоило подвинку вырваться на свет Божий, как ронял Паруню наземь и, лихо взвизгнув, брыкая ядреным задом с хулиганисто завинченным хвостиком, мчался напропалую, все на пути сокрушая. Если попадались огороды – он смахивал или проламывал частокол, носился по грядам, ворвавшись во двор, хватал на ходу что попало и жевал: овощ так овощ, обутки так обутки, с грохотом ронял возле колодца ведра, сшибал мотоциклы у ворот и ударялся вдаль. "О-о-ой, царица небесная! Все разгромил! – хватались за головы быковские женщины. – Платить будешь, Парушка, за огород!" И всем населением бросались за Путиком в погоню. Да куда там! Разве такого рысака догонишь! Саня-пасечник додумался настигать бродягу на мотоцикле. Большой спец Саня ездить без путей и дорог, по горам и колдобинам. Насядет Саня на Путика мотоциклом, загоняет его до устали, после уж как пленного ведет к дому да еще и пинков под зад Путику отвешивает. Орет на всю округу Путик, но следует куда надо, а хозяйка Паруня ему еще и добавит вицей по заду-то, по толстому да по розовому: "Вот тебе! А вот тебе! Не бродяжь!.." Скоро Путик, однако, освоился с техникой, дошел башкой своей удалой: по лесу мотоцикл ходить не может! – и принялся сбегать в леса. Сутками пропадал в суземье. Паруня ищет его, зовет, в панику иной раз впадет, скотина же непутняя, как вообще проголодается, зайвится к дому, развалится в водомоине, зароется в прохладной грязной луже и делает вид, будто никуда не убежал. "Эко! Эко! – ругается Паруня. – Эко, лешой, развалился! Как дирехтор какой!" – "Хурк-хурк", – в ответ. "Все ты огороды разорил. Людям нету от тебя житья... Я вон заколоть тебя велю, тогда узнаешь!" – "Хурк-хурк". – "А подь ты к лешому!" – хлопает Паруня по ядреному заду Путика и отправляется налаживать ему еду. Скоро картофель взойдет, огородина всякая. Наступит пора гряды полоть, овощ окучивать. Паруню уж тогда в покое не оставят, нет-нет да кто-то из телятниц прибежит: "Подмени меня, ребенок заболел...", "Подежурь за меня – в город надо...", "Помоги картошку окучить, дров напилить, за сеном съездить, телку отходить..." А пока идет Паруня из-за речки от бабушки Даши по старым лугам, сплошь затянутым свербигой, сурепкой, дикой редькой да пыреем, идет деревушкой, в которой улиц уже нет, дома вразброс, по отдельности, гнезда дворов заросли травой, саморостной черемухой. Хрустят под ногами Паруни лопухи, чемерица, дудки, обувь вся в желтой пыли от цветков и в белой черемуховой чешуе. Спокойная, в себе притихшая женщина, будто гребется веслами в тумане, широко размахивая руками. Приостановилась, подняла лицо к небу. Что она там увидела? Что-то хорошее. Улыбнулась и погреблась дальше в гору догораживать кому-то огород, может, дрова пилить, может, козу и кур своих кормить либо баню топить, любит она попариться, кости простуженные погреть. За Паруней сонно тянется Тузик. Идет трудовая женщина – Прасковья Александровна Воронова, русская крестьянка, и ждут ее дела, миру невидные, земные. Продолжение к "Паруне", дописанное самой жизнью Умерла Паруня глухой порой восьмидесятого года. И сколько лежала па холодной печи – никто не знает. Городской мужик, обретающийся в моей избушке, приехал навестить деревенских, попроведать избу – не увидел следа к Паруниной избушке. Мыши отъели у Паруни нос и уши, попортили лицо, продырявили глазницы. Кое-как снарядили вечную труженицу и увезли на кладбище, в соседнюю деревню, где под пихтами и осинами давно уже покоились и отдыхали все ее быковские подружки. Вместе им лучше. Вместе им не тесно и спокойно. Жена моя, бывшая фронтовичка, Марья Семеновна, узнав о смерти Паруни, давясь слезами, сказала: – Бедная, бедная Паруша! Может, болела, пить просила, а некому и воды подать было... Наверное, это был единственный человек на свете, который уронил слезу по Паруне, пусть и кратко, на ходу оплакал ее. Мир праху твоему, русская женщина! Вечная и светлая память тебе! Душа моя сочтется слезами, когда я думаю о

Астафьев Виктор Петрович Паруня astafevvictor.ru

тебе, вспоминаю тебя. Мир праху твоему! Прости нас, живых, вечным прощением – мы не от зла и не от дурости такие равнодушные и жестокие, мы от жизни такие. И еще неизвестно, какая кончина постигнет нас и какая память за нами будет. Может, никакой не будет – и это возможно в наши дни. 1977–1985

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!